

### Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова

Антиномизм пронизывает не только архитектурный, тематический и формально-композиционный уровни поэзии Вячеслава Иванова, но проникает и в ее молекулярный лингвистический состав: языковая плотность ивановского стиха сверхобычно насыщена антиномическими синтаксическими конструкциями самого разнообразного строения (*ложь истины; в розах Крест; святиться в грехе; Жизнь — Смерти гимны; тайна нежная безмолвьем говорит; Не видит видящий мой взор* и т. д.). Сама по себе синтаксическая игра с антонимами — общее место и в символической и в досимволической поэтике, но весомость антиномической идеи в теоретических работах Иванова, где она в некотором смысле является единым сквозным принципом, позволяет предположить, что всепроникающее присутствие в ивановской поэзии антиномических конструкций не может быть расценено как просто количественное наращивание стандартных поэтических приемов, которое можно было бы объяснять, например, субъективными языковыми пристрастиями. Эта сверхобычная насыщенность может означать, что — хотя антиномические синтаксические конструкции номинально и не фигурируют в теоретических текстах Иванова по поэтике в качестве первостепенного языкового элемента того, что А. Белый называл “лингвистической базой символизма”, им придавался некий обновленный и более высокий по сравнению с традиционной поэтикой статус. Не исключено и то радикальное предположение, что из всех тропов и языковых фигур или приемов не, скажем, метафора (как утверждал Белый) или именование (как утверждается в некоторых современных работах), а именно антиномические синтаксические конструкции составляют “лингвистическую базу” ивановского символизма, соответствуя его магистральной языковой стратегии.

Теоретическая предпосылка такого предположения — в вычитываемой из ивановских текстов идее функционального, а в определенном смысле и генетического родства антиномических конструкций с мифологическими высказываниями. Вся поэзия состоит, согласно одной из обостренных ивановских формулировок, исключительно из синтетических суждений (4, 645)<sup>1</sup>, миф же как раз и представляет собой, согласно регулярно воспроизводимой Ивановым формуле, синтетическое суждение с подлежащим-символом и глагольным предикатом. Практически во всех случаях приведения этой формулы Иванов добавляет, что цель синтетических мифологических

---

<sup>1</sup> Цитаты приводятся по вышедшим четырем томам издания “Вячеслав Иванов. Собрание сочинений.” (Брюссель, 1971, 1974, 1979, 1987); сноски даются непосредственно в тексте в скобках, где первая цифра обозначает номер тома, вторая — номера страниц.

высказываний — вызывать “удивление”: антиномические синтаксические конструкции выполняют и это требование. В одной же из ивановских формулировок этот “удивляющий синтетизм” мифологического высказывания напрямую связан с антиномизмом. Миф, говорит здесь Иванов, эпичен по форме, но трагичен по внутреннему антиномизму (4, 437). Антиномическую синтаксическую конструкцию можно, следовательно, толковать в ивановском смысловом пространстве как редуцированную лингвистическую транскрипцию синтетических мифологических высказываний.

На “внутренне антиномичные” мифологические высказывания Иванов возлагал миссию достижения стратегической цели символизма — знаменования (или, если говорить сухо лингвистически, референцирования) мира “бестелесного, слышного и незримого” (2, 591)<sup>2</sup> чувственно данными и объективированными формами языка. Если антиномическая конструкция действительно выдвигалась Ивановым в качестве “героя” символического поэтического дискурса, то в ней, следовательно, должны были усматриваться и некие собственно лингвистические особенности, которые соответствовали бы особенностям ивановского понимания этой общесимволической цели.

Дело не могло при этом состоять только в том, что сведенные в единую синтаксическую конструкцию антонимы формально-семантически “указывают” на мыслимые в символизме как долженствующие соприкоснуться предельные топографические координаты поэтического мира (небо/земля, верх/низ, жизнь/смерть, личина/лик и т. д.). В лексической способности антонимов к такому формальному “указанию” на предельные грани никаких особенностей собственно символического типа референции нет: это дейктическое свойство антонимов не выходит за рамки обычного — несимволического — понимания референции, и одного его недостаточно для того, чтобы непосредственные сочленения антонимов в разнообразных синтаксических конструкциях могли мыслиться как преображающиеся из набора стандартных поэтических приемов с неотчетливой или незаданной телеологией в специально символическую языковую форму референции. Характерным же нюансом ивановского понимания символического “знаменования” можно, по-видимому, считать принципиальную несубстанциальность символического референта, взятого как в модусе “данности”, так и в модусе “заданности”. При всей значимости вовлечения в аполлонийскую статичность топографии поэтического мира динамического дионисийского импульса ивановский символизм принципиально не предполагал субстанциальной встречи предельных топографических координат. Да, “ткань завес” между предельными гранями должна в символизме, по Иванову, становиться “сквозною” (2, 358) — “опрозрачиваться” поэтическим языком, однако Ивановым мыслились лишь “сквозящие свидания” светов, а не самих топографически противопоставляемых светил. То, что долженствует знаменовать

---

<sup>2</sup> Стандартная в символизме аллюзия к тютчевскому: “Смертных дум, освобожденных сном, / Мир бестелесный, слышный, но незримый...”

символическому стиху, не только изначально “бестелесно” и “незримо”, но и должно, по Иванову, оставаться таковым и при его символическом референцировании. Общесимволическая установка на “*вещей обличение невидимых*” толковалась Ивановым принципиально несубстанциально: не в смысле “придать невидимому *облик*” (опредметить беспредметное), т. е. не в смысле обретения, нахождения или создания контурно-отчетливого образа или прямо “лика” вещей невидимых, но в смысле — поиска способов для того, чтобы знаменовать символический референт вопреки невозможности обрести его лик (облик, образ). Если А. Белый ждал от символического стиха дарования облика “вещам невидимым”, будучи с оговорками, но готов, например, видеть за метафорическим сочетанием “белый рог месяца” образ (почти лик) некоего “тайноскрытого” для нас небесного животного<sup>3</sup>, то для Иванова “*каждый лик, глядящий с облаков, лишь марево зеркальности воздушной*” (3, 564).

При радикальном лингвистическом уплотнении этой ивановской идеи она предстает в виде парадоксального, на первый взгляд, тезиса, что для достижения референции “невидимого” и “бестелесного” символический стих должен *отказаться от акта именованя*, поскольку последний предполагает предметный или опредмечиваемый именованьем референт (*Душа... / Единым и Вселиким — / Без имени — полна! — 1, 749*). Разумеется, содержание этой идеи не следует понимать лингвистически формально: речь идет о жертвовании, конечно, не именами как грамматическими формами (такое понимание бессмысленно), но — *актом именованя*, т. е. о жертвовании речевым действием, референцирующим через именованье. К идее жертвованья именованьем ведут смысловые тропы от многих теоретических тем Иванова: о трагической ошибке Ницше, вызвавшего из дионисийского КАК фиктивное ЧТО с произвольно определенными чертами, (1, 723, 720), об опосредованном характере символического знаменования (референцировании ЧТО через КАК), о сущности трагедии, о кризисе явления, а с ним и внутренних форм привычных имен зримого мира, и о соответственном движении символического стиха от реального к реальнейшему, при котором стих должен, по Иванову, постепенно высвобождать свою знаменующую энергию “из граней данного” (2, 611) и перенаправлять ее из мира чувственно или ментально конкретных языковых образов и имен в мир “несказанного” и “невидимого” (не имеющего облика и имени).

Имплицитно содержится идея отказа от акта именованья и в самой ивановской формуле мифа, которая тем и выделялась на фоне тогдашних многочисленных толкований мифа, что в ней не предполагалось акта

---

<sup>3</sup> “Когда я говорю *Месяц — белый рог*”, то “в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мною созданный... *Белый рог месяца становится белым рогом мифического существа... месяц есть теперь внешний образ тайноскрытого от нас небесного быка или козла*” (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 141).

именования, и не предполагалось принципиально: в позицию субъекта синтетического мифологического суждения в ней помещается символ, символ же у Иванова подчеркнуто не имя референта (*символы наши — не имена*<sup>4</sup>), а — если воспользоваться стандартной лингвистической терминологией — предикат (*Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой* — 3, 30).

Сколь бы ни были настойчивы попытки переубедить в этом пункте Иванова, он — за одним, и то, по-видимому, формальным, исключением — так и не ввел акт именования в синтаксическую структуру лингвистической пра-формы мифа, а значит — не мыслил акта именования и в мифологическом пике символического стиха. В ивановской поэзии имена, которые претендовали бы прямо именовать маркированные символические “референты”, и прежде всего — имена собственные, чаще всего приносились в ритуальную жертву, что и было, по всей видимости, причиной сыпавшихся на Иванова со всех сторон упреков в уклончивости, тактике замалчивания и даже лицемерии. Так, в ходе диалога-тяжбы Иванова с Булгаковым о мифе сложилась чрезвычайно показательная для данного контекста ситуация. Если в ивановском мифе в позицию субъекта помещается символ — т. е. принципиально не имя, то Булгаков пишет в “Свете невечернем”: содержание мифа “*всегда конкретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления*”. И далее делает показательный для нас вывод: “*Подлежащее мифа, его субъект может быть обозначен только “собственным”, а не “нарицательным” именем*”.<sup>5</sup> Аналогичный упрек делался Иванову и А. Белым. Откликаясь на ивановские мысли о драме и мистерии, Белый пишет: “*...мистерия — богослужение; какому же богу будут служить в театре: Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие шутки! Аполлон, Дионис — художественные символы и только: а если это символы религиозные, дайте нам открытое имя символизирующего (так в издании — Л. Г.) Бога. Кто “Дионис”? — Христос, Магомет, Будда? Или сам Сатана?*”<sup>6</sup>

Белый разглядел за ивановской языковой многоликостью бога — козла, быка, барса, змеи, лозы, рыбы — идею безликости и безымянности символического референта, но не принял, расценив ее как “ужасающую даль старины”, заревевшую безликим “мраком на нас”.<sup>7</sup> Да, лик, по Белому, может быть не дан, но он (по известной формуле) — задан, финал символического пути — обретение лика, отказ от такого финала —

---

<sup>4</sup> “Романтик называет по имени тени своих мертвецов, которые он тревожит в их могилах. Мы же вызываем неведомых духов. Символы наши — не имена; они — наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его спутников, называвших Индией материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего горизонта” (2, 88).

<sup>5</sup> Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994, с. 58.

<sup>6</sup> Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 344 — 345.

<sup>7</sup> Белый А. Сирия ученого варварства (по поводу книги В. Иванова “Родное и вселенское”). Изд-во “Скифы”. Берлин, 1922, с. 9.

провал в дионисийскую бездну. Иванов в свою очередь усматривал в поисках “ликов” нечто вроде лингвистического пантеизма: Белый, говорил он, “суеверно” стремится приурочить символические языковые обозначения “вещей невидимых” к эмпирически объективированному “носителю”, *“к обманчивым, мимо бегущим теням.”* (4, 621).

В ядре этого противомыслия Белого и Иванова — разные толкования равно признаваемого ими необходимым “союза Аполлона и Диониса”. Каждым из них противоположная версия представлялась нарушением этого прокламируемого союза. Белый расценивал ивановское уклонение от образной “отчетливости” языковых форм и имен либо как хотя и не заявленный, но свершившийся отказ Иванова от самой идеи такого союза (Дионис у Иванова, по Белому, “упал” в свое безликое прошлое, Аполлон — взлетел в мертвую светлость холодных абстракций), либо как постановку этого союза под доминирующий знак по-язычески понятого Диониса *“...бога нет еще в мрачном лоне безбожнейших состояний людоедов, сбжавшихся в стадо... Бог — сон, ими созданный... Вакх — безликий убийца и жертва, живущий в сердцах и исполненный сладострастной жестокостью”*<sup>8</sup>). Иванов в свою очередь симметрично расценивал позицию Белого как превалирование Аполлона (логики) над Дионисом: *“Андрей Белый, выставляя образцом Пушкина (для каких только целей не кричали нам: “назад к Пушкину”!), ищет как бы обнажить иррациональные корни поэзии, исторгнуть их из обителей ночи... на солнечный свет логического сознания, проникнув их логосом (или логикой?), укротить дионисийские энергии..., обуздать в слове первородный грех (не чадородную ли силу?) “козловидного Пана”* (4, 638). Контрапункт очевиден: Белый считал, что посредством единения аполлоново-дионисовых сил можно по-неокантиански достичь не данных, но заданных новых ликов и образов, а значит и имен, Иванов ждал от этого союза не опредмечивающего “невидимый” символический референт благоприобретенного и именованного ЧТО, а подобного катарсису модального, непредметного и неименоваемого КАК. Требование имен в символизме, по всей видимости, уподоблялось Ивановым трагической, с его точки зрения, ошибке Ницше, искавшего вызвать из дионисийского КАК ясное видение, некоторое зрительное ЧТО, и стремившегося затем удержать это видение, пленить его, придать фиктивному ЧТО произвольно определенные черты и длительную устойчивость, как бы окаменить его (1, 723, 720), т. е. в нашей терминологии — опредметить и именовать (противопоставление КАК и ЧТО сохранено и поздним Ивановым).

Однако идея отказа от акта именованного “реальнейшего” ни в каком смысле, конечно, не означала отказа от его референции (тезис о возможности референцировать невидимое и несказанное — движущий импульс и регулятивная идея символизма). Она предполагала другое: поиск иных — неименных — способов символической референции. Антиномические синтаксические конструкции потому и выдвинулись на стратегическую авансцену ивановского символизма, что Иванов

---

<sup>8</sup> Там же.

усматривал в них некие собственно лингвистические особенности, которые позволяют им *референцировать, не именуя*. Антиномическая конструкция предстает при этом, как и положено в ивановском символизме, не только в качестве жреца, но и в качестве жертвы: ведь образующие эти конструкции антонимы сами суть в своем изолированном существовании вне этих конструкций не что иное, как имена, способные осуществлять (нередко в том же стихе) акт номинации.

Происхождение и природа этой стратегически интересующей Иванова способности антиномических конструкций к особой неименующей референции понимались, вероятно, в соответствии с общим ивановским толкованием проблемы антиномий.<sup>9</sup> Если сфокусировать эту многовекторную тему на интересующем нас вопросе, то, согласно ее ивановскому толкованию, антиномичные начала, с одной стороны, могут

---

<sup>9</sup> В абстрактно-общем плане ивановская идея отказа от именования может быть воспринята как реплика в тогдашней острой дискуссии о статусе антиномий в философском дискурсе — и тогда она как бы веером разворачивается в сторону сразу нескольких оппонентов. С одной стороны, ивановский символизм оспаривает аналитическую версию, предполагающую контекстуальное подавление одного из антиномических начал другим и фактически приводящую к тому, что победившей антиномии как приз вручается сан главенствующего в синтаксической конструкции имени-субъекта, непосредственно референцирующего “вещь”. Поскольку антиномии, по Иванову, предикативны по своей природе, ни одна из них не может самолично референцировать предмет, не может стать его именем (*Кто ты, белый, что возник / Предо мной во мгле просветной...? Ангел жизни? Смерти демон?... Супостат или союзник? Мрачный стражник? Бледный узник? Кто здесь жертва? — кто здесь жрец? — 2, 308 - 309*). С другой стороны, не готов Иванов и оставить противоречие “глубоким, как есть” (Флоренский), что, с его точки зрения, фактически ведет — хотя, возможно, и против теоретической воли сторонников этой позиции — к пониманию встретившихся в дискурсе антонимов как всегда имеющих свои дуалистически отдельные референты и как отдельно их именующих. Иванов взыскует “касания” миров — и потому ищет соединения антиномичного. Но, с третьей стороны, ивановский символизм не предполагает и такого доведения “касаний” антиномий вплоть до их синтеза в земных гранях, которое было бы подобно диалектическому синтетическому целому, понимаемому как предметное или опредмечиваемое и потому как именуемое земным языком (см. у позднего Иванова: *Если белый цвет и черный.../С умиленностью притворной / Тянут жалобный дуэт, / Я в тоске недоумелой / Отвожу стыдливый взор: / Ханжеством прикрыв раздор, / Лгут и черный цвет, и белый — 3, 605*). Ивановский символизм ищет формы касания антиномий — но такой, в которой они, будучи взяты совместно (нераздельно) и референцируя своей соположенностью незримый синтез, сохраняли бы тем не менее неслиянность: не нейтрализовались бы в лоне общего верховного имени. Таковую форму Иванов и находит в разнообразных синтаксических сочленениях антиномий, включая и форму их непосредственного субъект-предикативного скрещения — см. в продолжении того же стиха о “черном” и “белом”: *Есть в их ласках красота, / Если страсть их дико сводит*” (эрос же в ивановском смысловом пространстве есть помимо прочего и символ глагольной связки в суждении — подробнее см ниже).

и должны “в земных гранях” не оставляться “глубокими, как есть”, а соплагаться в рамках целостных “земных” форм, в том числе — в рамках единого синтаксического целого, но, с другой стороны, финальный синтез антиномичных начал обречен, по Иванову, оставаться в гранях этих “земных” целостных структур “невидимым” — вследствие чего трагедия, например, отображает финально-катартический синтез борющихся внутри героя антиномических сил через его гибель или преобразование.<sup>10</sup> В собственно же лингвистическом контексте эта идея трансформируется в принцип невозможности нейтрализовать антонимы, соположенные в “земных” рамках целостной синтаксической конструкции, в едином синтетическом имени (*“Земная песнь, молчи / О славе двух колец в одном верховном”* — 2, 423). Тем не менее антонимы, по Иванову, сохраняют способность к референции: не поддаваясь в гранях земного языка синтезу в верховное имя, но будучи соположены в рамках целостной синтаксической формы, они осуществляют искомую неименную референцию. Ее механизм мыслился, скорее всего, по аналогии с трагическим катарсисом: антиномическая конструкция может при определенных условиях достичь знаменования невидимого символического референта вопреки отсутствию в ней акта именованного — подобно тому, как этого достигает через гибель героя трагедия вопреки отсутствию в ней видимого земным зрением синтеза борющихся в герое антиномических сил.

Факт соположенности не нейтрализуемых в верховное синтетическое имя антонимов в рамках единораздельной цельности синтаксической формы имеет для неименной ивановской референции принципиальное значение — он коррелирует с той повышенной значимостью, которая придавалась им поэтической форме. Приверженность к “строгим” поэтическим формам — ивановская мзда Аполлону. Аполлонийский импульс, согласно Иванову, отражается в создаваемой под знаком союза двух богов поэтической речи “стройным телом ритмического создания”, из которого возникает целостная “словесная плоть” художественного творения (2, 630). Дар Аполлона — не разного рода ЧТО и их имена, не именованное символическое референтное, а недвижно пребывающая верховная форма творения (2, 191); поскольку же и Дионис приносит в этом союзе свои дары, то аполлонийская форма образуется в своей целостности соединением антиномичных начал (*“подобно тому как противоположный упор двух столбов упрочивает стойкость арки”* — 2, 193). В нашем контексте такова — синтаксическая форма сочленения антонимов, не нейтрализуемых в общем имени. Такая форма видна, как

---

<sup>10</sup> Распространение идеи незримости синтеза из искусства диады на все пространство его поэзии предполагалось самим Ивановым: хотя в качестве “поэзии диады” в собственном смысле им рассматривалась только трагедия, тем не менее, как писал Иванов в специальном экскурсе “О лирической теме”, и в лирике выражению диады предоставлен простор (2, 203). Лирика подразделялась им в этом смысле на тяготеющую к аполлонийскому и тяготеющую к дионисийскому полюсу (204); его собственную лирику можно понимать в этом смысле как тяготеющую к последнему.

арка или как (другой характерный для Иванова образ) кристалл, насквозь: ее очерченное внешними гранями внутреннее пространство не оплотнено предметами и именами, и потому через такую прозрачную форму можно различить и то, что “за” ней. Неименная референция в этом контексте — это референция через объективированную<sup>11</sup>, но прозрачную, не оплотненную предметными образами форму антиномических синтаксических конструкций. Антиномические конструкции референцируют, согласно замыслу Иванова, не субстанциальное и потому именуемое верховным синтетическим именем ЧТО, а модально-катартическое (предикативное) КАК, сквозь которое мы опосредованно узнаем, ЧТО реально увидел художник. Согласно антиномической вязи этого ивановского рассуждения, сила референции при таком опосредовании не ослабляется, а увеличивается: при сообщении нам через акт опредмечивания и номинации любого ЧТО мы, напротив, говорит Иванов, в действительности узнаем лишь модальное КАК, а не субстанциальное ЧТО символического референта (З, 665).

Разумеется, тезис об отказе от именованного — это заостряющая лингвистическая радикализация языковой поэтической стратегии Иванова. И разумеется, речь идет о телеологической тенденции, а не о повседневной языковой жизни ивановского стиха, которая остается подвластной общему закону. Ритуальное жертвование актом именованного могло пониматься как стратегическая сверхзадача, как то, что осуществимо лишь в маркированных позициях, в катартически-референциальном пике стиха. Однако в качестве условия и формы предуготовления символического стиха к неименующей катартической референции Ивановым могло мыслиться *расшатывание и ослабление* именовательных потенций языковых форм во всех других фрагментах стихотворения — во всяком случае, в тех, которые облачены в антиномические конструкции, а также в тех, на которые эти конструкции отбрасывают антиномическую тень. Имена и предназначенные к именной референции словосочетания должны в этих омытых антиномическими волнами поэтических островках не уверенно исполнять свою мессианскую референцирующую миссию, а сгибаться под ее тяжестью, будучи расшатываемыми антиномическими конструкциями и раздираемы собственными внутренними антиномическими противоречиями. Имена образов зримых предметов и устойчивых логических смыслов должны в этих фрагментах, согласно ивановскому замыслу, приходить в синтаксическое движение, сбрасывать именующие и облекаться в

---

<sup>11</sup> Идея неименующей и неопредмечивающей референции никак не означала, конечно, отказа от принципа художественной объективации “несказанного”. Синтаксическая конструкция без именованного — это тоже объективация неэмпирического через эмпирическое: подобно объективации творческого сознания в эстетической форме произведения в целом, референт воплощается в такой конструкции не непосредственно как материально чувственное, конкретно-образное и именованное явление, а через взаимоотношения чувственных элементов, в данном случае — через синтаксическое взаимоотношение антонимов как объективированных элементов языка.



предикативные тона<sup>12</sup> — с тем, чтобы, нарушив привычные представления зрения и мышления, подготовить тем самым катаргически-референциальный пик стиха, когда не сквозь лицо проступит лик, а сквозь кружева синтаксических антиномических сочетаний земных имен “просквозит” остающееся невидимым и несказанным (не имеющее и не получившее образа и имени).

В том, что антиномические конструкции из земных имен размывают привычные зрительные образы и другие эмпирические ощущения, распредмечивая их именованья, Иванов видел не побочный отрицательный эффект установки на знаменования “невидимого”, а правое упразднение “в нас обветшавших и омертвевших” восприятий предметов земного зрения. Логическое заострение этой линии теоретической мысли Иванова — теория “кризиса явления”, проблематизирующая адекватность именованья уже и самого видимого мира. “Кризис явления” означает кризис привычных форм явленности сознанию “видимой” предметности и, следовательно, кризис ее именованья.<sup>13</sup> Если стратегическая идея жертвования именованьем в

---

<sup>12</sup> Постепенно и по нарастающей слабеющие имена должны преобразоваться в составе и окружении антиномических конструкций в предикаты, приближенные к зоне глагола. См. мимоходом брошенное замечание у пронциательного Гершензона: *“Фраза Вяч. Ив. — многолюдная трапеза... Власть домохозяев — подлежащего и сказуемого — почти не чувствуется, но все совершается по их тайному замыслу..... каждое существительное — не существительное, а глагол...”* (Гершензон М. О. Теория словесности. Из рукописного (пародийного) журнала “Бульвар и Переулок” // “Новое литературное обозрение”, 1994, № 10, с. 204). Вместе с именованьем преобразуются в составе антиномических конструкций ивановской поэзии и все основанные на предметной языковой образности тропы (не исключая самую метафору).

<sup>13</sup> Кризис явления ответствен, по Иванову, еще более глубокому сдвигу отношений внутреннего порядка, в существе и основе которого лежит *“некая загадочная переменна в самом образе мира, в нас глядящегося... Мир являющийся еще так недавно являлся человеку иным... Человек еще не забыл того прежнего явления, а между тем не находит его более пред собой и смущается, не узнавая недавнего мира... Где привычный облик вещей?”* (3, 369).

Тематически идея распредмечивания зримого мира не была, конечно, индивидуальным новаторством Иванова. В теории об аналогичных изменениях в восприятии поэзией зримой предметности, о ведущем к потере контурности слиянии “знакомых представлений зрения” — но без радикальных выводов — говорил, в частности, И. Коневской, высоко ценимый Ивановым (в написанной в тридцатые годы академической энциклопедической статье о символизме Иванов, говоря о русском символизме, упоминает многих “пользовавшихся наибольшею славою” — Бальмонт, Брюсов, Мережковский и др., но вводит разряд “заслуживающих особое внимание”, и первым в этом ряду назван Коневской). В написанной в 1900 г. статье “Мистическое чувство в русской лирике” Коневской писал, что нарастающее в русской поэзии мистическое чувство, это — *“ощущение пребывания личности в таких состояниях сознания, которые находятся вне доступного обычным условиям восприятия предметов”*

референциальном пике стиха противостоит идее прозрения не данных в наличности, но заданных имен и ликов (в частности — А. Белому), то тактическая идея расшатывания актов именованья, соответствующая ивановскому пониманию движения стиха от реального к реальнейшему, противостоит идее неназывания (сокрытия) наличных имен. Иванов отнюдь не оппонировал здесь требованию подчинить поэзию заповеди “не произносить имен всуе” (напротив, это выставлявшееся и самим Ивановым требование опосредованно, но коррелирует с идеей жертвования именованьем), он оппонировал идее сокрытия насущных “земных” имен — тому, что в его текстах называлось (с упоминанием Анненского, Бодлера, Малларме) “ассоциативным символизмом”. Это направление символизма толковалось Ивановым в том числе и как предпочитающее при описании имеющего имя земного предмета не называть это имя прямо и сразу, но вызывать у читателя ряд ассоциативных представлений, совокупность которых позволила бы с особенной обновленной силой воспринять, при угадывании подразумеваемого имени, этот не названный предмет (2, 574). Ивановская версия символизма предполагает не разгадывание или загадывание имен, а заклятие или преображение имен: в своем движении *per realia ad realiora* символический в ивановском смысле стих “*сразу называет предмет, прямо определяя и изображая его ему присущими, а не ассоциативными признаками, чтобы потом... сорвать или опрозрачить его внешние завесы*” (2, 576) — в лингвистическом контексте это и значит: чтобы, назвав, расшатать потом отчетливую контурность образов зримых предметов, стоящих за этими названными именами.<sup>14</sup>

---

(Иван Коневской. Мечты и думы. Томск, 2000, с. 265). Когда кончался день, Тютчев уже не ощущал более “*многого, из чего слагались знакомые ему представления предметов, их красок и очертаний их, в движении и в покое... И тут же, когда слились многие знакомые представления зрения, вместо них явились новые, невидимые прежде*” (266). Иванов радикализировал эту тему, нарастив ее до идеи неадекватности здесь и сейчас существующих образов и имен “вещей” видимого эмпирического мира (Коневской же говорил не только о “чрезмерной зрячести” Пушкина, но и о “чрезмерной слепоте к внешним предметам” Баратынского — там же, с. 275).

<sup>14</sup> Энергия ивановской идеи расшатывания актов именованья выплескивалась далеко за пределы внутрисимволистских споров. Так, Пушкин, по Иванову, мыслил самым (видимым, зримым) миром, и ему поэтому оставалось только именовать вещи и их отношения — а с ними и их вечные идеи. Отсюда, говорит Иванов, и кристалличность Пушкина, и свобода его выражения от субъективных апперцепций, и — это уже прямо наша тема — чистая, неокрашенно-отчетливая контурность вызываемых им образов, т. е. предметных или опредмечиваемых референтов. Отсюда же и доминирование именованья: именно Пушкин, по Иванову, имяславец (4, 636), Тютчев же, а с ним, надо понимать, и сам Иванов, нет. Опредмечивающему “видению” Иванов противопоставляет “внутреннее ощущение”: в поэзии референцируется и передается *модальность* (не ЧТО, а КАК). Тютчевские “*лес, вода, небо, земля значат не то же, что лес, вода, земля, небо у Пушкина... Пушкин заставляет*

Применительно к синтаксической ткани стиха все сказанное означает, что в соответствии со стратегическим тезисом об отказе от акта именованья в катартически-референциальном пике стиха ивановская тактика обращения с антиномическими конструкциями во всех других фрагментах стиха могла быть нацелена на поиск различных способов ослабления и погашения именовательных потенций составляющих и окружающих эти конструкции языковых компонентов.

Прежде чем обратиться к конкретике, оговорим: конечно, антиномизм участвует в формировании общей ивановской топографии поэтического мира, конечно, он связывается Ивановым с его излюбленными поэтическими формами в их целостности, влияет на внутреннюю структуру циклов и книг, на тематическое развертывание стиха, пронизывает его композиционные формы, в том числе форму диалога (не только в трагедиях, но и в лирике, где эта форма также применялась Ивановым). Однако от этих и от других — относящихся к архитектонике и к т. н. “макросинтаксису” или “большому” синтаксису — сторон ивановского антиномизма мы здесь отвлекаемся в пользу “малого” и частично “среднего” синтаксиса — как своего рода молекулярного уровня языковой плоти стиха, который в некотором смысле является тем фундаментом, над которым результирующим эффектом вспыхивает архитектурная радуга “большого синтаксиса”.

Иванов волхвовал в поэзии над антиномическими синтаксическими конструкциями: вобрав в свою поэзию практически все стандартные антиномические сочетания, он наращивал их концентрацию, стремился, экспериментируя с их строением и дислокацией в стихе, расшатать или преодолеть их именующие потенции и возможность аналитического прочтения, искал новые — лексически и синтаксически усложненные — типы антиномических конструкций, иерархически выстраивал их в стихе по направлению к его референциальному пику. Поиски Иванова далеко не ограничивались и этим: он стремился наделить антиномическим — размывающим именование — звучанием и формально не антиномичные сочетания, распространяя для этого энергию антиномической идеи за пределы одной только лексической семантики и обнажая тем самым мыслившуюся им антиномичность глубинных — синтаксических и грамматических — структур языка.

---

*нас их увидеть в их чистом облиии* (создавая, как сказано у Иванова выше, зрительные контурно-отчетливые образы — Л. Г.), *Тютчев — анимистически их почувствовать*” (4, 636 — 637), т. е. передает некое имманентное модальное состояние, достигая этого через создание мифологических суждений, которые всегда несут в себе, согласно Иванову, внутреннюю антиномичность (“Тютчев — удивляющийся поэт”, там же). В статьях об искусстве диады референцируемые символическим текстом состояния сознания прямо связывались Ивановым с антиномизмом (“ощущение сокровенных противоречий душевной жизни, зияние которых будет приоткрывать взору тайну бытия” — 2, 193).

С точки зрения формальной лингвистической организации, ивановские конструкции, построенные на лексической антиномике, традиционны — иначе, собственно, и быть не могло: практически все возможные в языке синтаксические сочетания прямых и опосредованных лексических антонимов поэзия знает давно, и львиная доля их входит в стандартный набор поэтических приемов. Речь идет о другом — об особости в применении неособого: о тех лексических, синтаксических и грамматических приемах, с помощью которых Иванов стремится придать стандартным синтаксическим сочетаниям искомый нестандартный семантический эффект.

Общая тактика лексических способов расшатывания именуемых потенциалов сочетаний из лексических антонимов — *надстраивание* дополнительных антиномических этажей. Иванов часто пользуется общераспространенными способами такого надстраивания. Например, — количественным наращиванием разных антиномических сочетаний в одной фразе в качестве ее однородных членов (*Чтоб мог я безумьем твоим разуметь, / Любовью дерзать и покорностью сметь!* — 3, 555), однако в смысле специально ивановских целей (распредмечивание именованного) такого рода способы мало эффективны (см., например, сочетания с однородной синтаксической дислокацией у Вл. Соловьева: *Когда душа твоя в одном увидит свете / Ложь с правдой, с благом зло...; Свобода, неволя, покой и волненье / Проходят и снова являются...*, или у Боратынского: *упоенья проповедуй / Иль отравы бытия... Дивной силой будишь ты / Откровенья преисподней / Иль небесные мечты...*). Характерно же ивановскими приемами надстраивания антиномических этажей, направленными на расшатывание именованного, можно признать те, с помощью которых различные пары антонимов не помещаются в однотипные синтаксические позиции, используясь в качестве имен разных референтов, а вводятся в непосредственное синтаксическое скрещивание и тем направляются на единое референциальное поле, расщепляя его и раскалывая целостно-предметное восприятие референта. Например, прием *нанизывания* двух пар антонимов на один синтаксический стержень: *Розы сладость На горечи Креста* (3, 445) или всасывание в воронку символического тождественного суждения не одной, а двух пар взаимонанизанных антонимов: *И корни — свет ветвей, и ветви — сон корней* (1, 747). Предметная контурность общего референта теряет здесь отчетливые очертания.

Аналогичны по эффекту и характерны для Иванова *инверсивные* (в смысле — с синтаксической взаимоперестановкой антонимов) конструкции, которые могут быть как рядоположенными в тексте: “*ложь истины твоей змеиной / Иль истину змеиной лжи*” (3, 543), так и требующими для восприятия их расшатывающего именованного эффекта активизации текущей фоновой или межтекстовой памяти — напр.: *умереть — знай — жизнь благословить...* (2, 422) и *Жизнь — Смерти гимны* (2, 409).

Применял Иванов и *синтаксическое нанизывание*, при котором конструкция излучает антиномическое напряжение одновременно из нескольких своих разных синтаксических сочленений. Вот наглядный по своей формальной простоте случай размытия именованного за счет

нагнетания антиномического напряжения в обоих имеющихся синтаксических “узлах” конструкции: *Ночью света ослепил* (3, 34). Сочетание из антонимов “ночь” и “свет” помещено в позицию, предполагающую именную референцию, но подчеркнутая ненейтрализованность этих антонимов (в отличие, например, от возможного “свет из мрака”) затрудняет отчетливое предметно-образное восприятие референта. Если дезориентированный слушающий обратится в поисках прояснения затемненной референции к другому компоненту фразы (“ослепил”), то и там его ожидания не оправдываются, поскольку его встречает еще одно, надстроенное, антиномическое напряжение — “ослепить ночью”, которое в свою очередь дополнительно активизирует еще один подразумеваемый антиномический этаж (“ослепить светом”). При обращении к другим синтаксическим сочленениям фразы возможность предметно-образной референции в таких конструкциях лишь еще более затрудняется, однако смысловая искра понимания тем не менее вспыхивает — референция осуществляется вопреки ослабленному именованию. Можно, по-видимому, предполагать, что если несколько пар антонимов единой синтаксической конструкции стандартно помещены в однотипные синтаксические позиции, то именуемая референция сохраняет силу (у Иванова в Психее-мстительнице: *К царю на ложе и к рабу / Вхожу блудницей; / И мумией лежу в гробу, / И рею птицей...* — 3, 550), но если антиномичность пронизывает сразу несколько разных синтаксических узлов, и при этом антиномии синтаксически скрещены между собой, то их именуемая сила ослабевает, референция же тем не менее осуществляется. См., например, в той же Психее-мстительнице ниже: “*И стал двоим тюрьмой твой дом, / Но Смерть веду я: / Умрешь ты, мертвый; В Нем, живом, / Тебя найду я...*”). Следует, видимо, понимать, что искомая Ивановым референция с ослабленным именованием всегда осуществляется, согласно его замыслу, всем целостным синтаксическим составом той конструкции, в которую входят одна или несколько антиномических пар.

К числу синтаксических приемов можно отнести целенаправленную *передислокацию* антиномических словосочетаний, обладающих именуемой потенцией, в зону предиката. В качестве иллюстрации приведем примеры, из которых видно, что Иванов часто изменяет синтаксическую дислокацию тех стандартных антиномических конструкций, поэтическая репутация которых была к началу века — в том числе и для внутреннего самосознания самого символизма — серьезно подорвана. Те, например, стандартные синтаксические схемы антиномических сочетаний, ироническая коррозия которых была зафиксирована в широкоизвестных пародиях Вл. Соловьева, Иванов преимущественно располагал в других синтаксических позициях, нежели в соловьевских пародиях, переводя их из субъектной зоны, предполагающей именование предметно очерченного референта, в зону оценочно-модальных предикатов. Так, если в соловьевской пародии: *Горизонты вертикальные / В шоколадных небесах / Как мечты полузеркальные / В лавровишневых лесах*, то у Иванова: *Жизнь, грешница святая, / Уста мои, смолкая, / Тебя благословят...* (3, 600). Если у Соловьева: *Призрак льдины огнедышащей / В ярком сумраке погас...* то у

Иванова: *Верю... / Земли путеводным обманам / И Правде небесных измен...* (2, 305). Если у Соловьева: *Светит в полдень звезда, / Она в полдень светит, / Хоть никто никогда / Той звезды не заметит....*, то у Иванова: *Не в звездных письменах / Ищи звезды. Склонися над могилой: / Сквозит полнощным Солнцем облик милой* (2, 440) или (вторая возможная ассоциация с соловьевской светящей в полдень звездой): *Но и явь — завеса: пьют зеницы / В белый полдень звездный свет Царицы* (3, 620).

Конструкция *Сквозит полнощным Солнцем облик милой* наглядно иллюстрирует соотношение антиномической стратегии Иванова с *метафорой*. В своей сущностной глубине ивановский антиномизм — не метафора, во всяком случае не традиционная. Традиционная метафора не предполагает размывания предметной образности, напротив: она зиждется на именовании. Метафорическое *Она влетела в комнату ласточкой* имеет образно-предметную референцию. Если трансформировать ивановское сочетание в этом направлении, то “нормально” метафорическим было бы *Сквозит Солнцем облик милой* — именуемая предметно-образная сила Солнца сохранилась бы здесь в полной метафорической мере. Присоединение же антиномичного атрибута — *Сквозит полнощным Солнцем* — эту предметную образность размывает. Если это метафора, то — антиномическая, которую следует, по всей видимости, оценивать как частный случай в сфере антиномических конструкций, а не как главную лингвистическую фигуру ивановского антиномизма.

Конечно, некоторые антиномические конструкции Иванова дают формальные основания для их интерпретации как метафорических фигур, но значительная их часть выходит за рамки объясняющей силы метафорических теорий: *жизнь есть смерть* не метафора, а отождествление, *дать голос немоте, говорить безмолвьем, проститься до вчера* и т. д. — не метафора, а прямая референция, хотя и неименующая, т. е. референция того, что не имеет при его восприятии предметно-образного ингредиента и потому референцируется без именованного и при этом — принципиальный нюанс — неметафорически. Соответствующие зоны — как минимум — не покрывают друг друга: не все метафорическое состоит из антиномических конструкций, и не все антиномические конструкции построены по метафорическому принципу.

Разумеется, Иванов пользуется и обычными метафорами, но чаще всего — «вне» антиномизируемого им пространства (*Ладья вдыхала вихрь бегущий / Всей грудью жадных парусов* — 3, 13). Конечно, возможны “нормальные”, не размывающие предметного именованного, метафоры и из антонимов (*мертвая жизнь, живой труп*), и, конечно, Иванов пользовался и ими. Но тем разительней контраст между антиномической конструкцией, построенной как бы по метафорическому принципу, но размывающей предметность именованного, и “нормальной” метафорой, на предметное именованное опирающейся. См. обычную метафору из антонимов у Иванова: *Весь в розах челн детей. Но что плачевней, / Чем стариков напутственные свечи? / Мы, мертвые, живем... И задушевней — / Оставшихся, близ урн былого, встречи* (2, 354). Здесь метафорический эпитет *мертвые* применен к именованным и имеющим

зрительную образность *старикам* — это “обычная” земная образность и “земная” интонация, не предназначенные вызывать ничего символического в смысле, например, “соприкосновения миров”. Ср. иного рода семантический эффект от игры с той же лексической парой в антиномизируемом в соответствии с символическими целями пространстве: *Со Мной умерший жив со Мной* (1, 89, от лица Любви); эта конструкция не содержит в себе почти ничего в традиционном смысле метафорического, она, напротив, предполагает неметафорическое — прямое — понимание. В контекстах, ориентированных на “земную” образность, соотношение между антиномизмом и метафорой зеркально обращается: если в рамках доминирования антиномизма метафора может рассматриваться как его частный случай, то здесь, наоборот, антиномизм можно понимать как занимающий подчиненное зрительной образности положение — как то, например, что ищет соответствия между противоположным, т. е. может оцениваться как частная вариация более общей идеи “соответствия” и, следовательно, как частная вариация метафоры (т. е. антиномические конструкции в роде *мы, мертвые, живем* можно в таких контекстах интерпретировать как разновидность метафоры).

*Неметафоричное использование стандартных метафорических образований* — один из способов достижения ивановским антиномизмом своей цели (размывание предметной образности). В частности, ивановский стих часто заостряет в сторону размывания предметной образности известный прием перенесения органического предиката от одного субъекта к другому; в антиномической зоне — это прием опосредованной антиномии, при котором одному из антонимов приписывается предикат второго. См., например, условно вычлененное “умершая овдовела” из “Любви и Смерти” (2, 397, к Диотиме): *Ты — родилась; а я в ночи, согретой / Зачатьем недр глухих, — / Я умер... / ... И ты скорбишь вдовой...* (перемещение органического атрибута “вдовство” от Жизни к Смерти предварено здесь инверсивной парой — умершая родилась, живой умер). “Скорбишь вдовой” в данном контексте не метафора, а прямая, хотя и неименующая, референция. Принципиальная неметафоричность в ивановском антиномическом пространстве таких взаимных обменов своими аналитическими предикатами между антонимами видна по особой маркированности этого приема (на обмене предикатами построена, в частности, поэма “Спор”, где “страсть” из органического атрибута “жизни” утверждается в качестве не метафорического, а органического атрибута “смерти”).

Преследуемая цель — расшатывание актов именованья — не могла быть, конечно, достигнута только нанизыванием антиномичных пар, перемещением именуемых сочетаний в неименующие синтаксические позиции и неметафорическим обменом аналитическими предикатами между антонимами; она требовала большего: размывания референцирующих потенций как самих имен, так и синтаксической позиции субъекта. И ивановская стратегия предполагала движение по обоим этим направлениям.

Чтобы продвинуться по первому из них, Иванов распространил энергию экстенсивно наращиваемой антиномической идеи в *глубь* лексем — на понимание самих имен как внутри себя синтаксичных и синтетичных, а в пределе и как потенциально антиномичных по своей внутренней структуре. Эту идею можно усмотреть в мелопее “Человек”, где верховная формула Имени — *Аз-Есмь* — толкуется как синтетическое суждение в его обратимом тождестве. Согласно авторским примечаниям к “Человеку” (3, 742), “в абсолютном, божественном сознании” Имя “Аз-Есмь” *есть суждение тождественное: “Аз есмь Бытие”, “Бытие есть Аз”*. “Мнимая” же “полнота тварного духа, отражая в своей среде тождественное суждение..., искажает его в суждение аналитическое”, т. е., надо понимать, в суждение *Аз есмь* (в смысле *Я существую*), в котором “*бытие есть признак и изъяснение моего “аз”*”. Ожидаемым же от тварного духа действием должно было бы, по Иванову, стать “*превращение Имени в суждение синтетическое*” — *Аз есть “Есмь”*, долженствующее означать, что “*мое отдельное бытие (аз) есть Единый Суций (Есмь) во мне*”. В последней формулировке к идее синтетичности ответного тварного имени подключен и антиномический смысл: при переводе в лингвистический контекст она предполагает развертывание ответного тварного имени в такое суждение, в котором синтетически соединяются и отождествляются в позициях субъекта и предиката антиномические топографические полюса (“отдельное” бытие и “Единый Суций”). Можно поэтому заключить, что символическая тайна тварных языковых имен, по Иванову, не просто в том, что они имплицитно содержат в себе суждение (это знает и аналитизм, утверждающий, что все люди смертны), но в том, что имена должны восприниматься как суждения синтетические и — в пределе — антиномические. Оболочка имен при таком понимании опрозрачивается, приоткрывая их внутреннее синтаксическое и антиномическое строение.<sup>15</sup>

Идея внутренней синтаксичности и антиномичности имен раскрывается Ивановым через синтаксическое поведение в поэтическом контексте символов, имеющих языковую форму имен. Ивановский символ, формально представляющий из себя имя, принципиально многозначен, многолик и многознаменующ — но не хаотичен: внутренняя семантическая структура символа, как и структура синтетического мифологического суждения, держится, подобно своду арки, его антиномическими полюсами и скрепляется отождествлением этих

---

<sup>15</sup> Значимым для нашего контекста нюансом кратких авторских примечаний к “Человеку” является и то, что символическую тайну самого Верховного Имени Иванов, по-видимому, усматривал не только в Его синтаксичности, синтетичности и обратимости, но и в том, что в составляющем Его тандеме тождественных суждений (“*Аз есмь Бытие*”, “*Бытие есть Аз*”) в позиции субъекта нет акта именования: местоимение первой формулы — не именование, а (если воспользоваться метафорой Булгакова) “*мистический жест*”, указующий направленность референцирующего луча, который не высвечивает ничего предметно (и как бы то ни было еще) определенного. Это свойство местоименного жеста распыляет (во второй инверсивной формуле) и ту слабую смысловую определенность, которая — в изоляции — имеется у “*бытия*”.



полюсов: *Познай меня, — так пела Смерть, — Я — Страсть...* (2, 403). В эту внутреннюю антиномически выстроенную синтаксичность имен и трансформируется в ивановской поэзии то свойственное метафорическим конструкциям условное приписывание атрибута одного субъекта другому, о котором говорилось выше: в поэме “Спор” “страсть” (органический предикат “жизни”) не метафорически приписывается “смерти”, а понимается, как уже говорилось, в качестве ее органического предиката, т. е. в качестве компонента, входящего в ее внутреннюю семантическую структуру (*Мне Смерть в ответ: ... Яд страстных жил в тебе — мои струи...* — 2, 403). Дионисийское начало, понятое как естественный символ антиномического разделения в единстве, упраздняет то непрозрачное “бесформенное единство” (2, 191), которое, надо понимать, стоит, по Иванову, как за опредмечивающими и непрозрачными именами, так и за аналитическими суждениями.

Второе направление развития ивановской стратегии — размывание референциальных потенций синтаксической позиции субъекта — требовало предписывания этой позиции неких иных функций. Она, напомним, заполняется, согласно ивановской формуле мифа, не именами, а предикатами референта, в качестве каковых расцениваются и все лексические компоненты антиномических мифологических суждений. Когда один из этих предикативных по генезису антонимов занимает позицию предиката, другой антоним может быть помещен в субъектную позицию — и тогда искра искомой неименующей референции высекается скрещением сохраняющих генетическую предикативную природу антонимов в синтаксических позициях субъекта и предиката. Референцирующая же сила изолированно взятой позиции субъекта в этом случае приглушается. Именно такая синтаксическая дислокация антонимов предполагается ивановской формулой мифа, и она же образует инвариантную антиномическую структуру ивановского символизма — *тождественное суждение* (бог есть жертва — жертва есть бог, смерть есть жизнь — жизнь есть смерть и т. д.). Если сгустить идею, то Иванов, по-видимому, полагал, что в точке скрещения антиномичных смыслов в качестве субъекта и предиката тождественного суждения осуществляется неименная референция к искомому акту энергетического “касания” двух пределов топографической картины поэтического мира.

Вписывается в такой разворот темы и тот высокий иерархический статус, который придавался Ивановым глаголу “быть”. Глагольная связка, порождающая синтетическое суждение, в том числе и даже прежде всего — тождественные антиномические суждения, лексически знаменует в ивановской поэзии как Эрос, т. е. как традиционный символ несубстанциального энергетического касания топографически предельно противопоставленных миров (*Где жизни две — одна давно... / Льет третий хмель... / О демон-Жало, Эрос-жрец...* — 2, 381). В примечаниях к “Человеку” глагольная связка прямо названа символом любви: “Логическая связка “есть” знаменует связь любви” (3, 742).

Если наша интерпретация движется в верном направлении, то Иванова можно понять и в том смысле, что в мифологическом суждении и сами так называемые “ядерные” синтаксические позиции субъекта и предиката — безотносительно к их лексическому наполнению —

находятся между собой в антиномических отношениях.<sup>16</sup> Иванов, вероятно, мыслил синтаксический субъект как аполлонийски статичный и как антиномичный по этому параметру дионисийской динамике предиката, целостная же синтаксическая форма суждения, образуемая связкой между субъектом и предикатом, могла пониматься как дар искомого “союза Аполлона и Диониса”. Если так, то антиномическая идея Иванова далеко не исчерпывалась не только внешней, но и внутренней лексической антиномикой и лексической семантикой в целом: она выходит здесь из лексических берегов и направляется в море вбирающего в себя лексические реки синтаксиса.

Несомненно, во всяком случае, что Иванов целенаправленно обыгрывал вместе с лексико-семантическими и синтаксическими взаимоотношениями антонимов. Конструкции, скрещивающие антиномичное в позициях субъекта и предиката, — особо маркированная зона ивановского стиха. Характерно ивановским синтаксическим приемом можно признать в этой зоне “прогон” предикативного сочетания из одной и той же пары антонимов по всем возможным синтаксическим парадигмам. Как бы беря за отправную точку символическое тождественное суждение из антонимов (например, *смерть есть жизнь*), ивановская поэзия целенаправленно подвергает это суждение всем тем трансформациям, которые предполагаются закономерностями языка, как будто стремясь дать полную языковую палитру предикативных сочетаний одной и той же пары антонимов и тем достичь совокупного эффекта расшатывания предметного восприятия референтов каждого из этих антонимов. Так, если из исходного аналитического *смерть не есть жизнь* следует аналитический ряд: *смерть есть смерть, мертвый не жив, живой не мертв, живой умрет, смерть умертвляет, жизнь оживляет* и т. д., то у Иванова из исходного антиномически-символического *смерть есть жизнь*, — во исполнение тех же языковых закономерностей — следует другой соответствующий ряд суждений: *смерть есть не смерть, мертвый живет, живой мертв, умерший не умер, смерть оживляет, жизнь умертвляет, мертвый умрет, живой оживет* и т. д. И практически на все — почти без преувеличения — эти конструкции можно привести реальные примеры из ивановской поэзии, хотя, конечно же, в их синтаксически усложненном, аранжированном дополнительными декорациями или подразумеваемом виде.

Вот некоторые примеры (в них фигурируют и опосредованные предикаты этих антонимов — страсть, рождение, вдовство и т. д.):

---

<sup>16</sup> Во всяком случае каркас этой идеи тоже можно усмотреть в мелопее “Человек”, где взаимоотношения между компонентами синтетического суждения Аз-Есмь, которые освобождены от именуемой в обычном смысле лексической плоти и потому могут условно рассматриваться как символы позиций субъекта и предиката, описываются через взаимоотношения маркированной у Иванова антиномической пары жизнь/смерть (*Аз и Есмь лучит алмаз: / В нем с могилой жизнь играет. / Есмь угаснет — вспыхнет Аз, / В Есмь воскресшем — умирает.* — 3, 202).

(от лица Смерти): *Взгляни и припомни: я — жизнь*, т. е. “Смерть есть жизнь” (3, 128);

“*Познай меня*”, — так пела Смерть, — “я — страсть...”, т. е. “Смерть есть страсть” (2, 403);

К Диотиме: *Ты — родилась; / а я, в ночи, согретой / Зачатьем недр глухих,— / Я умер...*, т. е. инверсивная конструкция “Умершая родилась, живущий умер” (2, 397);

*Вещали мне отшедшие / Над огнищем твоим: / “Тревожились, тревожили, / Мы друга своего: / Но, радостные, ожили / И днесь живим его...*, т. е. “Умершие ожили и живут живых” (4, 17);

*И стал двоим тюрьмой твой дом. / Но Смерть веду я: / Умрешь ты, мертвый; в Н е м, живом, / Тебя найду я..*, т. е. “Мертвый умрет” (3,550);

(умершая) *плакала не раз / Над тем, кто мертв...*, т. е. инверсивы “Мертвая жива, живой мертв” (2, 405):

от лица Любви: *Со Мной умерший жив со Мной*, т. е. “Умерший жив” (1, 89);

*В ночь зимнюю пасхальный звон ловлю, / Стучусь в гроба и мертвых тороплю, / Пока себя в гробу не примечаю...*, т. е. “Живой мертв” (2, 139);

*Стала в небе кликом ранним / Будить человека: / “Скоро ль, мертвые, мы встанем / Для юного века?”*, т. е. “Живые мертвы, но оживут” (4, 33); *встанем* — контекстуальный заменитель *оживем*; здесь вычленим также *каркас живые оживут*, т. е. инверсив к *мертвый умрет*.

*Смерть — повитуха; в земле — новая нам колыбель...*, т. е. “Смерть рождает” (3, 30).

По приведенной серии предикативных сочетаний из одной пары антонимов отчетливо видно, что в комбинации с синтаксическими Иванов стремился антиномизировать и *грамматические* взаимоотношения лексем. В частности, Иванов — как того и следовало ожидать — стремился антиномизировать в соответствии с метафизической установкой символизма на преодоление “владычества” времени взаимоотношения между языковыми *временами*. Аналитическое течение языковых времен может обращаться Ивановым вспять, времена могут обмениваться векторами своего соотносительного движения, останавливаться, отождествляться и — в пределе — “сняться” в безвременной вечности (*Совьются времена — в ничто; замрут часы — 2, 289; К своим верховьям хлынут времена — 3, 224*).

Требуемая метафизической установкой игра с временами велась и в непредикативных конструкциях, но там она осуществлялась в основном за счет собственно лексических средств, в частности, за счет *антиномического* заполнения валентностей. См., например, трансформацию непредикативного сочетания с аналитическим заполнением валентности *проститься до завтра* в символически-антиномичное по временному параметру сочетание *проститься до вчера*, в котором как бы сменен вектор аналитического движения времени: *...Прости! / До тесной прости колыбели, / До тесного в дугах двора, — / Прости до заветной цели, / Прости до всего, что — вчера*” (2, 275). Вместе с конструкцией *проститься до вчера* здесь одновременно даны и антиномизированные конструкции *проститься до сейчас* (*до тесного в дугах*

*двора)* и *прости до рождения (до колыбели)*, т. е. использовано характерно ивановское нанизывание нескольких антиномических конструкций на единый синтаксический стержень. Дана здесь и аналитическая норма — *прости до цели*, создающая фон для антиномического звучания всего фрагмента.

В сфере же предикативных конструкций Иванов присоединяет к лексическим способам игры с временами синтаксические и грамматические средства. Применяется, в частности, *комбинация из лексических и синтаксических средств*. Так, в целях искомого отождествления времен Иванов часто использует специфические синтаксические свойства тождественного суждения, которое за счет особенностей временного функционирования в нем глагола “быть” и само существует, и сводит свои антиномические компоненты в некоем условно-вечном настоящем. Стремясь взрастить этот глагольный дар тождественного суждения до абсолютной атемпоральности, Иванов подпитывает его лексически: создавая, например, тождественные суждения из лексем, семантически антиномичных именно по временному параметру, т. е. как бы отождествляет времена за счет объединения семантических свойств лексем с синтаксическими средствами тождественного суждения. Такова, например, трансформация непредикативного сочетания *Ora e Sempre* в символическое тождественное суждение *Ora — Sempre*. Во вступлении к циклу “Голубой покров” дается эпиграф *Ora e Sempre* (ныне и вечно), а в первой же строке из компонентов этого эпиграфа, содержащего с формальной точки зрения два однородных, т. е. предикативно не скрещенных, члена, создает тождественное суждение, где эти антиномичные по временному параметру компоненты предикативно скрещены в тождественном суждении через тире (подобно *Аз-Есмь*) и, следовательно, отождествлены: *Был Ora — Sempre тайный наш обет...*” (2, 424). Отождествляя временные лексические антонимы в тождественном суждении, Иванов стремится антиномизировать полюса временной аналитической оси, а тем самым отождествить и сами времена.

Использует Иванов для антиномизации конструкций за счет игры с временами и тройную *комбинацию лексических, синтаксических и грамматических средств*. См., например, объединение лексической антиномики, синтаксических потенций предикативного суждения и временных глагольных суффиксов в: *Со Мною умерший жив со Мною*. В основе здесь лежит условно вычленяемое при восстановлении копулы тождественное суждение из антонимов — *умерший* (прошедшее) *есть живущий* (настоящее).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Со сменой вектора аналитического времени или с отождествлением времен оформлены в ивановской поэзии только маркированные и акцентированные формулы — вероятно, потому, что антиномизация, перенаправление и остановка языковых времен — технически сложный прием (фоновое же текстовое время либо не выходит у Иванова за аналитические берега, либо — часто — остается в рамках того условно-поэтического вечного настоящего, которое по типу схоже с аналитически-условным вечным

Такого рода подключения к арсеналу способов придания конструкциям антиномического звучания суффиксальных средств и свидетельствует о том, что Иванов, по всей видимости, мыслил распространить экстенсивно наращиваемую им энергию антиномической идеи не только во внутреннее семантическое строение имен (вглубь лексики) и не только на субъект-предикативную синтаксическую структуру, но и на отношения между *грамматическими категориями*. Радикализирующим тему подтверждением этого направления ивановской мысли является то, что Иванов стремится антиномизировать не только отношения между грамматическими формами разных лексем, но и отношения между грамматическими категориями, взятыми безотносительно к их лексическому наполнению, т. е. стремится вывести энергию антиномической идеи за лексические берега и направить ее в десемантизированное грамматическое пространство языка.

Наиболее отчетливо идея антиномичности грамматических структур языка безотносительно к их лексическому наполнению просматривается в тех ивановских конструкциях, которые построены из *однокорневых* грамматических форм. Сами по себе однокорневые конструкции столь же стандартны, как и антиномические<sup>18</sup>, но в ивановской поэзии они маркированы особо, и это также — известный факт. Объяснить же эту особенность можно тем, что Иванов стремился придать однокорневым конструкциям антиномическое звучание. В приведенной серии примеров подразумеваемое *Мертвый умрет* (из *Умрешь ты, мертвый*) столь же очевидно антиномично, как и *мертвый живет*. Антиномическое звучание конструкции *мертвый умрет* опирается на введенный в нее за счет смены временного вектора антианалитический (абсурдный) налет — “в норме” же однокорневые конструкции аналитичны: *мертвый умер*, и даже — в тавтологиях — супераналитичны: *живой живет* (Иванов антиномизирует не только антианалитические по смыслу сочетания, но и аналитические, и даже супераналитические, т. е. тавтологии, — но об этом позже).

Вот еще характерно ивановские многосоставные однокорневые конструкции с отчетливым антианалитическим и антиномическим звучанием: *Вы веру, верные, проверили, / Вы правду, правые, исправили* (3, 525). Если учитывать, что стихотворение называется “Оправданные”, то вторая из приведенных конструкций получает еще один, дополнительный этаж антиномичности: *Вы правду, правые, исправили, и тем — оправданы*. Несомненная (и часто критикуемая) пристрастность

настоящим в тождественных суждениях, с безвременьем сентенций и т. п.). Возможно, что конфликтом между установкой на антиномизацию и отождествление времен и технической трудностью исполнения этой установки объясняется неоднократно отмечавшееся вслед за А. Белым сравнительно небольшое количество глагольных форм в ивановской поэзии (особенно в “Кормчих звездах”).

<sup>18</sup> См., например, главу о повторах в статье В. М. Жирмунского, где они возводятся к “балладному стилю”, а применительно к символизму определяются как средство “сгущения эмоциональной, лирической настроенности” (Валерий Брюсов и наследие Пушкина. — Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1971, с. 163).

ивановской поэзии к однокорневым конструкциям объясняется, по-видимому, их эффективностью в достижении стратегической цели распредемечивания референта. Грамматическими силами однокорневых конструкций Иванов как бы раздваивает (рас-траивает) именуемую потенцию одной лексемы и вводит полученные разнонаправленные референцирующие энергии в конфликтные отношения, придавая тем самым однокорневой конструкции антиномичное звучание. Мы называем семантический эффект такого рода конструкций “антиномическим” потому, что в этом отношении ивановская идея обратима: тезис, что за антиномической конструкцией стоит расшатываемый в своем монолитно-предметном понимании референт, в своем обращенном виде означает, что та конструкция, за которой стоит расшатываемый в своем монолитно-предметном понимании референт, антиномична.

Именно в однокорневых конструкциях Иванов, вероятно, усматривал наиболее короткую и удобную дорогу к выявлению искомой им глубинной антиномичности языка: если в разнокорневых конструкциях антиномический эффект предопределен прежде всего лексически и только потом грамматически, то придание антиномического статуса конструкциям, составленным из разных форм одной лексемы, как бы предполагает, что антиномический эффект в данном случае предопределен прежде всего внутренним антиномизмом самих грамматических категорий, а не их лексическим наполнением.<sup>19</sup> И действительно, вырвавшиеся из-под власти лексической антиномики и получившие антиномическое звучание однокорневые конструкции в почти чистом (по сравнению с разнокорневыми конструкциями) виде иллюстрируют предполагаемые Ивановым глубинные грамматически-синтаксические антиномии языка.

Так, наряду с временами Иванов, несомненно, антиномизировал *залог* (в аналитической лингвистике залог, как и времена, в большинстве случаев не мыслятся в качестве находящихся в антиномических отношениях), используя игру с ними как одно из основных средств расшатывания именующих потенций синтаксической конструкции.

Узнаваемо ивановский ход в этом направлении — *игра с пассивным и активным залогами*<sup>20</sup>; она ощутима и в разнокорневых сочетаниях (по типу трансформации аналитического *жизнь умертвляется* в символически-антиномическое *жизнь умертвляет* или *зрение ослепляется* в *зрение*

---

<sup>19</sup> Антиномизируя отношения между синтаксическими позициями субъекта и предиката и грамматическими категориями, взятыми безотносительно к их лексическому наполнению, Иванов тем самым фактически дезавуирует единоличность преимущественно применяемого в лингвистике принципа выявления факта антиномичности сугубо по лексико-семантическому критерию, дополняя его синтаксически-грамматическим.

<sup>20</sup> В своем общем (не специально языковом) смысле эта идея выражена у Иванова так: “*Бог присутствует невидимо, — действительно, поскольку одержит и обурекает своих служительниц, — страдательно, поскольку, обуяв их, им предается*” (2, 197 — 198).

ослепляет), но особо маркирована и отчетливо обнажена череда залоговых трансформаций в однокорневых конструкциях. Например, аналитическое *жертва жертвуется* трансформируется за счет смены пассивного залога на активный в символически-антиномическое *жертва приносит жертву (Я — жертва — жертвенник творила — Кормчие Звезды, Аскет — 1, 540)*; *свет освещает* трансформируется в *свет освещаем (И страждет Свет, своим светясь гореньем. / Ах, дара нет / Тому, кто — дар! И кто осветит — Свет? (1, 741,)).* Обнажена в однокорневых конструкциях и смена пассива на возвратность: из аналитической нормы *тварное — то, что сотворено* Иванов создает антиномически напряженную символическую форму, предполагающую, что *тварь может творить себя: Себя творить могущих сотворил я...* (2, 112). Выше мы уже видели аналогичное: *правда правит правду, вера проверяет веру.*

Эту максимальную обнаженность “приема” в однокорневых сочетаниях Иванов часто использует во всю силу, разворачивая череду залоговых трансформаций вокруг одного глагола вплоть до абсолютной синтаксической инверсии субъекта и объекта. Так, из условной аналитической точки отсчета *Творец творит тварь* Иванов образует не только уже приведенные сочетания, но и *тварь творит творца: И тварь творца творит — непримиримым!* (2, 111).

На фоне этой обнаженной игры однокорневых конструкций с глагольными параметрами можно отчетливее усмотреть аналогичные процессы и в разнокорневых конструкциях, где они чаще всего даны не в столь эксплицитном виде. Так, в сочетании *Воззревший ослеплен* (2, 421) можно услышать не только обмен аналитическими предикатами между антонимами (*зрячий не видит — слепой видит*), но и смену пассива на актив: смену аналитического *зрение может быть ослеплено* в символически-антиномичное *зрение может ослепить*, что вносит в восприятие дополнительный динамический импульс, активизируемый расслышанностью антиномической игры с глагольными потенциями лексем.

Можно усматривать игру с глагольными потенциями (с залоговым параметром возвратности) и в том активном у Иванова в зоне непредикативных разнокорневых конструкций приеме, при котором глаголы, аналитически рассчитанные на переходное инообъектное заполнение их валентности, употребляются в возвратном значении, что дает, например, из аналитического *рождать X — символическое рождать себя: (о душе) Устала ты, невольница мгновенья, / Себя рождать...* (1, 699). Если глагольный предикат в таких сочетаниях двухместный (*разлучать X с Y*), то в них может вспыхивать при использовании этого приема и искра однокорневой антиномичности по типу *разлучать душу с душой* (в смысле *с самой собой*), что усиливает распрямляющие потенции и самого сочетания, и окружающего контекста (см. тематическую фиксацию этого эффекта в “Орфее растерзанном”: *Бога с богом разлучили, растерзали вечный лик — 1, 804*). Так, приведенный выше пример входит в гроздь нанизанных на один синтаксический стержень однотипных по приему конструкций как с одно-, так и с двухместными предикатами, что взаимообостряет их

антиномичность: *Душа скорбит — с собой самой, единой, / Разлучена! / Устала ты, невольница Мгновенья, / Себя рождать, / Свой призрак звать из темного забвенья...*). Сам по себе прием употребления в возвратном значении глаголов, аналитически рассчитанных на переходное инообъектное заполнение их валентности, конечно, далеко не нов: например, у Брюсова: *За собою видеть себя...* или у Белого: *“В себе, — собой объятый / (Как мглой небытия), — / В себе самом разъятый, / Светлею светом “я”...*, однако у Иванова такие конструкции приобретают относительную специфичность — за счет того, что подчеркнута используются не в иносказательно-метафорическом, а в прямом смысле, что и придает их звучанию антиномичный оттенок, раздваивающий референт и тем размывающий его отчетливые предметные контуры.

Особый интерес в зоне разнокорневых непредикативных сочетаний представляет и то, что Иванов склонен примерять антиномические потенции глагольных залогов к *именным сочетаниям*. Например, в именном сочетании *безгласная тайна* (2, 344) можно услышать как бы произведенную смену аналитического пассива на символически-антиномичный актив: аналитическое *тайна невыразима в словах* трансформировано в символически значимую *тайну неговорящую — безгласную*, где слабо, но все же слышится антиномическое напряжение, возникающее в этом именном словосочетании, по всей видимости, именно по аналогии с залоговыми глагольными параметрами. Можно, видимо, говорить и о том, что в разнокорневых непредикативных сочетаниях Иванова слышится отдаленное эхо и других, не только залоговых или временных, глагольных параметров. Например, в *неизреченном молчаньи* (2, 262) можно усмотреть что-то вроде антиномической игры с несовершенным и совершенным видами — *изрекать/изречь* (из аналитического *неизрекаемого молчанья — символически-антиномичное молчанье неизреченное*), в результате которой в сочетании *неизреченное молчанье* появляется антиномический привкус. Эта антиномичность становится очевидной и усиливается при восприятии стиха тем, что Иванов пристраивает к этому сочетанию дополнительные антиномические этажи: *голоса неизреченного молчанья* (антиномическое напряжение содержится здесь во всех трех швах синтаксического сочленения: *голос/молчанья, молчанье/неизреченное, голос/неизреченного молчанья*).

Но вернемся к однокорневым конструкциям. Особую, как уже говорилось, зону в этой группе (наряду с рассмотренными выше абсурдными и/или противоречивыми конструкциями типа *мертвый умрет* и т. п.) составляют *тавтологии* — супераналитические сочетания типа *видящий видит, возмочь возможное* и пр., которым Иванов также придавал антиномичное звучание. Можно, видимо, говорить о двух основных способах антиномизации тавтологии.

В первом случае Иванов антиномизирует тавтологию за счет ее *расщепления* на два антиномичных прочтения: аналитическое и антианалитическое. Так, ивановское сочетание *не своей тоскою тосковать* (3, 508) самым фактом своей артикуляции в стихе расщепляет тавтологию *тосковать тоскою* на два возможных антиномичных прочтения: *тосковать не своей тоскою* и *тосковать своей тоскою*



(последнее сочетание — это как бы экспликация обычно не выводимого на лексическую языковую поверхность подземного аналитического этажа валентности глагола тосковать: *тосковать* аналитически предполагает *тосковать тоской*, последнее в свою очередь аналитически предполагает *тосковать своею тоской*). Будучи расщеплена на два антиномичных прочтения, тавтология *тосковать тоской* тем самым антиномизирована *внутри* себя. В используемом в таких случаях раздвоении субъектов действия слабым пунктиром намечена идея антиномичности еще одной несущей оси языка — оси местоимений, но, кажется, эта идея проявила свою силу в ивановской поэзии в основном в рамках композиционной формы диалога, не получив собственно синтаксического и грамматического применения (хотя, тематически идея антиномических потенций местоименных соотношений была, как известно, подробно развита в ивановском толковании принципа *Ты еси*; сжатые переложения содержательно-тематической обработки этой идеи имеются и в поэзии: *Твоим, о мой избранный, / Я стала телом; ты — душой моею. / В песках мою манной / Питаемый! воззри на лик свой вчуже: / Жену увидишь воплощенной в муже* — 2, 432).

Во втором случае тавтология приобретает антиномичное звучание тогда, когда она воспринимается не изолированно, а как целое, которое, наподобие слова, может иметь свою антиномическую пару в другом синтаксическом целом — прием *внешней* антиномии<sup>21</sup>. Наиболее технически прозрачный случай — восприятие тавтологического сочетания слова с его аналитическим предикатом (*видящий видит*) как потенциально антиномичного сочетанию этого же слова с отрицанием этого же аналитического предиката (*видящий не видит*). Иванов часто строит такого рода отрицательные конструкции, которые и без всякого внешнего сопоставления воспринимаются как внутренне антиномичные — например, *Не видит видящий мой взор* (2, 312). Но когда Иванов окружает такие отрицательные конструкции контекстом, в котором явным или подразумеваемым образом всплывает соответствующая тавтология, они приобретают и внешнюю антиномичность, а вместе с этим приобретают антиномическое звучание и сами тавтологии: *видящий не видит* и *видящий видит* становятся антиномичной парой. Так, в стихотворении, из которого взято приведенное выше *Не видит видящий мой взор*, хотя тавтологическая пара непосредственно, т. е. в форме *видящий взор видит*, не дана, но она синтаксически подготовлена и

---

<sup>21</sup> Идея внешней антиномичности синтаксических конструкций в их целом может быть усмотрена в том, что, истолковывая свое понимание пра-мифов и давая их образцы, Иванов приводит парные примеры, находящиеся в отношении внешней антиномии: *солнце — рождается/солнце умирает, бог — входит в человека/душа — вылетает из тела* (4, 437). Внешняя антиномичность мифологических суждений коррелирует с внешней антиномичностью символов: в поэтическом контексте Иванова фигурируют не только очевидные постоянные антиномические пары символов — жизнь/смерть, бог/жертва, роза/Крест, но и контекстуально подвижные: змея может антиномично противопоставляться розе, агнцу, голубке.

подразумевается: далее следует о том же “видящем взоре, который не видит” — *не видя, видит он* (2, 313). В аналогичном примере: *...слушает пастух, / Глядит на звезды: небо дышит, — И слышит и не слышит слух* (3, 556) обе антиномичные конструкции даны вместе.

Придавал Иванов тавтологиям внешнее антиномическое звучание и силами акцентуемой им глубинной грамматической антиномичности языка, в частности — за счет противопоставления залогов, о чем мы уже говорили. В приводившемся выше примере: *И страждет Свет, своим светясь гореньем. / Ах, дара нет / Тому, кто — дар! И кто осветит — Свет?* (1, 741) — не только подразумевается антиномизированная за счет смены залога конструкция *свет освещаем*, но тем самым антиномизируется и сама тавтология (*свет светит*). В данном случае антиномичные конструкции *свет светит* и *свет освещаем* поданы на некотором текстовом расстоянии, но в одном стихотворении. В другом месте у Иванова есть к *свету светит* и требующая межтекстовой памяти отрицательная антиномическая конструкция *свет не светит* (*Вам не светят светы, — вам солнца нет!* — 2, 230).

Антиномизировались Ивановым и *непредикативные аналитические тавтологии*, вроде *светлый свет; возмочь возможное; разлучая, разлучить*. Прием тот же — внешнее сопоставление, но помимо отрицания здесь может вступать в действие и разнокорневая лексическая антиномика. Так, тавтология *светлый свет* (*Свет светлый веет: родился Христос* — 2, 343) антиномична, надо понимать, невидимому, черному, ночному и т. д. свету. И все эти “светы”, антиномизирующие звучание *светлого света*, в ивановской поэзии есть. Например, “невидимый” свет: *Была моя жизнь благодатно согрета... / Невидимым светом из глуби света* — 3, 548; или подразумеваемый “черный” свет: *Меняли цвет, делясь светом оба; / И черный бел, и белый черен был* — 2, 426; есть и *ночь света*, т. е. свет ночи, ночной свет — 3, 34). И в приведенных примерах, и в большинстве других случаев непредикативной тавтологии антиномичные полюса текстологически разорваны — они даются в одиночку, требуя активизации межтекстовых ассоциаций. Но и в непредикативных сочетаниях Иванов иногда выполняет нудительное теоретическое самотребование упразднить за счет непосредственной экспликации антиномических энергий плоскую — бесформенную в себе — целостность слова (имени, понятия, образа — всего предметного или подвергающегося опредмечиванию). В непредикативных сочетаниях исполненная двусоставная полнота слова — это двухатрибутность, и вот пример: *А важная Муза героев, / С мраморным свитком, / Вперила на волны / Незрящие, зрящие очи* (1, 547).

Среди *глагольных* непредикативных конструкций тавтологического характера, антиномизируемых Ивановым, — сочетание однокорневых деепричастия и глагола: *вспоминая, вспоминать* с антиномическим фоном *вспоминая, забывать; разлучая, разлучать* с фоном *разлучая, соединять* (*Прейду / И я порог и вспомню, вспоминая* — 2, 405; *Время нас, как ветер, мчит, / Разлучая, разлучит* — 3, 544). Особо маркировано у Иванова в этой зоне сочетание “глагол плюс однокорневое существительное”. Так, на антиномическом противопоставлении тавтологического *возмочь возможное* и

антианалитического *возмочь невозможное* построен спор Океанид с Прометеем. Разорвем синтаксический строй поэмы, чтобы напрямую свести интересующие нас места. Океаниды: *Возможное возможно человек... Возможно свершил ты, Прометей...* Прометей: *Тому, кто перевозмог, — “ты мог” — укор.* Впрямую сочетание *возмочь невозможное* не дано, но ситуацию это никак не меняет: контекст не оставляет сомнения в том, что речь идет именно о *возмочь невозможное* (Океанида: *Когда б, умыслив невозможный умысл...* Прометей: *Бессмертен я: со мной бессмертен умысл / Того, что невозможным ты зовешь...* — 2, 112-112). Несомненно и то, что *возмочь возможное* и *возмочь невозможное* целенаправленно введены здесь в антиномичное столкновение: помимо того, что это диалог, т. е. композиционная форма столкновения смыслов, оба существительных выделены Ивановым разрядкой.

Антиномизацию тавтологий можно понять как ивановскую версию традиционной “поэтики содержательных тавтологий”<sup>22</sup>. Антиномично воспринятая тавтология должна, согласно ивановскому замыслу, вызывать не чувство избыточного повторения, семантического излишества или неумения, а чувство произведенного поэтом выбора предиката из как минимум двух и потому — чувство мифологического удивления и синтетичности данного суждения, ибо, согласно такой логике, *видящий* — в своем оформленном антиномической полнотой единстве — может и *не видеть*, *свет* может *светить* и *не светить*, *освещать* и *освещаться*, а *тосковать* можно как *своей*, так и *не своей тоскою*. Построение тавтологического сочетания — синтетическое действие: оно отнюдь не нудительно, а предполагает выбор одного из как минимум двух антиномических предикатов. В поэзии, говорил Иванов, “и всякое аналитическое по внешней форме суждение превращается в синтетическое по внутренней форме” (4, 645). Нечто подобное этой же логике предполагалось, видимо, Ивановым и тогда, когда он загадочно говорил относительно “самых безыскусных” утверждений Тютчева, в роде как “ветер веет” или “звезды сияют”, в коих “никакой ритор не узнает ученый троп”, что эти аналитические — с обычной точки зрения — суждения суть тем не менее не что иное, как синтетические мифологические суждения, рождающиеся из неустанного изумления (4, 165), т. е. суждения в ивановском смысле антиномичные. Аналитическое развертывание понятия в суждение, как и построение тавтологического — т. е. в определенном смысле супераналитического — сочетания, может в поэзии на схожем с тавтологией основании расцениваться как синтетическое действие (*ветер веет* становится антиномически насыщенным на фоне, например, неподвижного, “не дующего”, ветра).

По Иванову, таким образом, получается, что любое тавтологическое (и тем более аналитическое) высказывание может в принципе предполагать ту или иную по типу антиномичную пару — но, конечно, не каждая ивановская тавтология антиномизирована. Антиномичность

---

<sup>22</sup> О поэтике содержательных тавтологий и антиномий см. *Аверинцев С. С. Славянское слово и эллинизм*. ВЛ, 1976, №11.

может часто не входить в замысел и потому вовсе не предполагаться — как не всегда предполагается вызывать у читателя антиномичные ассоциации и при использовании слов, обладающих прямыми лексическими антонимами. Однако отсекаать антиномичное прочтение следует, как это видно по примеру *свет светлый*, осторожно, поскольку оно часто предполагается у Иванова как далекий фон — и тогда, чтобы слышать антиномичность в той или иной ивановской тавтологии, надо держать в уме длинные межтекстовые связи. Не всегда формально активизировалась Ивановым и возможность антиномизировать глагольные тавтологии (по ненадобности, а в некоторых случаях, возможно, и потому, что технически это затруднено — в приведенном примере с *возможь возможное* Иванов прибегнул даже к разрядке), однако глагольный шлюз в его поэзии почти всегда принципиально в этом смысле приоткрыт. Антиномический фон в той или иной степени напряженности — причем разнонаправленный — можно в принципе предполагать за любым тавтологическим глагольным сочетанием: за *хвалой хвалить* — *хвалить бранью*, за *тоской тосковать* — не только *тосковать не своей тоскою*, но и *тосковать радостью* и т. д. Дает ивановская поэзия и возможность мыслить обратные ряды, образованные за счет антиномичной мены уже не существительного, а глагола: *хвалить хвалой* может предполагать своим антиномическим фоном *бранить хвалой*, *тосковать тоской* — *радоваться тоской* и т. д.

Сам по себе прием синтаксического скрещения однокорневых лексем, конечно, стандартен, но обычно выстраиваемые тавтологии как антиномические не мыслятся. Их использование чаще всего оправдывается иными, нежели глубинная антиномичность тавтологий, причинами: стилистикой повтора, стремлением к аналитическому уточнению и пр. См., например, тавтологии, оправдываемые, видимо, стилистикой повтора, у Белого: *Растаял рдяных зорь, / Растаял, — рдяный пыл...*; *Древес прельстительных прельстительно вздыханье...*; *Бесценных дней бесценная потеря...*; *Зари краснеет красный край...* См. также тавтологию с возможным аналитическим подтекстом: *Там рдей, вечеровое рденье...* Тавтология имеет здесь аналитическую цель — уточнение референта: рденье может быть и утреннее (название стиха — “Вечер”). Все сказанное выше отнюдь, конечно, не означает, что у Иванова вообще нет стандартных — стилистически или аналитически оправдываемых и неантиномизированных — случаев тавтологии. Они — есть, и их много (см. напр. аналитически объясняемую через время тавтологию *Былою белизной душа моя бела* — 2, 371). Речь, как и во всех других случаях использования стандартных приемов, идет о другом — о том, что наряду с их обычным применением Иванов стремился проложить некие новые — антиномические — тропы, ведущие к расшатыванию именованного и распределению референта. В случае с тавтологиями Иванов стремится антиномизировать предельную грань — то, что воспринимается как “супераналитичное”.

По совокупности приводившихся примеров можно заметить, что все упоминавшиеся типы и разновидности синтаксических конструкций (разнокорневые и однокорневые, антианалитичные и супераналитичные, глагольные и именные, предикативные и непредикативные,

обыгрывающие залоги и времена и т. п.) находятся в текучем и обратимом переплетении, порождая друг друга. Если объединить и обострить все те направления, по которым экстенсивно наращивалась антиномическая идея Иванова, то получается, что не только лексика, но и синтаксис, и грамматика языка изнутри оформлены, с ивановской точки зрения, антиномическими силами. Цена в Гоголе то, что тот “засматривал в глубины русского языка”<sup>23</sup>, и двигаясь в том же направлении, Иванов, по-видимому, усматривал в глубинах языка залегающий там всеохватный антиномизм. Собственно лингвистическая инновационная гипотеза Иванова может быть условно сформулирована как выдвигающая антиномические отношения в качестве инвариантного параметра всех сторон жизни языка.

Учитывая же, что игра с залогами, временами, антиномичным заполнением глагольных валентностей не просто активна в ивановской поэзии, но часто (например, в однокорневых конструкциях) приближена к катартически-референциальному пику, трудно не поддаться и тому впечатлению, что именно потенции глагола (а не имени существительного, поэтом которого, с легкой руки Белого, принято называть Иванова) — стержень ивановской поэтической стратегии: именно они оказались основным источником специфически ивановских способов придания синтаксическим конструкциям антиномического звучания. Краткая энергичная формулировка в записях М. М. Замятниной ивановских Лекций о стихе — “Глаголу дифирамб”<sup>24</sup> — далеко не случайна в этом смысле.

Возможно, кажется, говорить и о том, что антиномическая поэтическая стратегия Иванова не только проступает в качестве своего рода внутренней формы сквозь особенности описанных здесь синтаксических конструкций, но почти в полном объеме обговорена в самой поэзии и непосредственно тематически. Это касается как теоретических принципов — например, антиномизации взаимоотношений субъекта и предиката, активного и пассивного залогов или местоимений (о чем мы говорили в своем месте), так и лингвистически зафиксированных нами способов антиномизации синтаксических конструкций, многие из которых также нашли в ивановской поэзии свое непосредственно тематическое выражение. Концентрированную содержательную фиксацию антиномической ивановской стратегии, включая идею любви-связки, можно усмотреть, например, в “Венке сонетов”. В качестве символов антонимов, вступающих в разные типы соотношений, здесь — Я и Ты (она). В гранях земной жизни эти символы даются сначала как взаимоизолированные, т. е. — условно — в своем словарном противостоянии: *Мы два грозой зажженные ствола...* (2, 412); *Чей циркуль нас поставил, чей отвес...?* (413), затем — в земных же гранях — как скрещенные любовью, т. е. — предикативно скрещенные через связку (413): *Одной судьбы двужалая стрела / Над бездной бег*

---

<sup>23</sup> Вяч. Иванов. Лекции о стихе (по протоколам М. М. Замятниной) — Новое литературное обозрение. 1994, № 10, с. 105

<sup>24</sup> Там же, с. 105.

*расколотый стремил, / Пока двух дуг любовь не преломила / В скрещении лучистого угла...* и далее — как предуготовляющие благодаря этому скрещению свое не достижимое в земных гранях единство (415): *Уж даль видна святого кругозора / За облаком разлук двоим одна...* Идея об антиномиях как органических предикатах друг друга: *Я был твой свет, ты — пламень мой...* (418). Там же — идея обмена антонимами своими аналитическими предикатами: *Я... горю; ты светишь мной из гроба. / Ты ныне — свет; я твой пожар простер...*, вплоть до отождествления антиномий (*Впервые мы крылаты и едины, / Как огонь-глагол синайского куста...*), отражающего свершившуюся антиномически оформленную полноту ранее бесформенно единого в себе (417): *Исполнилась нецельных полнота! / И стали два святынь единых слуги, / Единых тайн двугласные уста...* Конечно, относительно интересующих нас языковых закономерностей все это — иносказание, однако факт возможности установления здесь некоей связи значителен, ибо допускает обратное — вероятно, мыслившееся Ивановым — толкование: что глубинный инвариантный антиномизм языка сам есть некое символическое иносказание.

Иванов свел в своей поэзии воедино практически все допускаемые духом языка конструкции, которые формально обладают или могут быть наделены антиномичным звучанием, — за одним принципиальным исключением. В ивановской поэзии нет *тональной антиномии* (т. е. антиномического интонационного прочтения формально одной языковой конструкции, вроде горестного и радостного интонирования фразы “Он умер”). Но ее отсутствие — не незамеченность факта, а принцип: Иванов, по-видимому, считал, что поэзия — даже при максимальном насыщении ее антиномичностью — должна, в отличие от прозы, строиться в одном тоне (сказано о сонете как “образце всей поэзии”<sup>25</sup>).

Конечно, ни один из описанных способов никак не является абсолютным открытием Иванова, но Иванов перевел их из разряда спорадических явлений в отчетливую и определенную языковую стратегию с общей телеологией: маркированные у Иванова антиномические и антиномизированные конструкции расшатывают именовательную потенцию входящих в них языковых форм и не предполагают или как минимум затрудняют предметно-образное восприятие референта. Иванов культивировал не просто слепую (в чувственном смысле<sup>26</sup>), но самоослепляющуюся, как Эдип, поэзию —

<sup>25</sup> Там же, с. 99.

<sup>26</sup> Возможно, в определенной мере ивановская поэзия слепа в силу особенностей эмпирической органики Иванова (в Письме к дю Босу Иванов признает “относительную слепоту” своего “эмпирического состояния” — 3, 421), но прежде всего она слепа “программно”. Та нарушающая ожидания читателя лишенность ивановской поэзии всяких привычных “предметов”, ее развеществленность, сквозная прозрачность и т. д., о которых с разными оценочными знаками часто говорится, — целенаправленно

поэзию, долженствующую очиститься и очистить от всеобщего греха неправого восприятия зрительно данных явлений и произвольного опредмечивания “бестелесного” и “незримого” мира, чтобы приблизиться тем самым к той умной (эйдетической) слепоте, которая одна истинно видит. Никакого финально-победного смысла своей распредмечивающей антиномической стратегии Иванов поэтому не придавал: он скорее оценивал ее (наряду с другими распредмечивающими новациями в области искусства, например, расщеплением зрительного образа в живописи у Пикассо) как “только первые щупальцы нарождающегося сознания” (3, 379), как бескомпромиссное осознание кризиса явления, но не как выход из него.

То, что ивановский антиномический символизм на деле оказался для поэзии не просто введением новых тем и культуртрегерством (как иногда оценивают символизм в целом), а новаторством “приема”, видно хотя бы по тому, что именно стратегическая цель ивановского антиномизма (распредмечивание референта) стала критической мишенью поэтических манифестов тех нарождавшихся новых течений, которые самообособлялись именно в споре с символизмом (“назад к вещам” акмеизма можно понять и как “назад к контурно-предметной образности”, имажинистскую установку на метафору — как призыв вернуться к не распредмечивающей референт метафоре). Однако ивановский антиномизм возвращал свои порой причудливые цветы из органических корней языка, и потому он не мог не остаться и в не разделяющей распредмечивающую телеологию поэзии как минимум в виде частных тактических приемов. Сам Иванов воспринимал ситуацию именно так: “Акмеистам так много хлопот с символизмом” потому, писал Иванов<sup>27</sup>, что “все, что поталантливее, выходит у них самих как будто символично. “Гони природу в дверь, — она влетит в окно”<sup>28</sup>.

Антиномизм, действительно, глубинная природа языка и смысла вообще. Возможно, что с точки зрения ее метафизических целей антиномическую символическую стратегию Иванова и можно рассматривать как утопическую (это другая тема), но лингвистически она

запрограммированный в теории и напрямую связанный с антиномической языковой стратегией эффект. (См., в частности у В. Пяста: “Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, — в начале обойтись не может... Стихи этой книги “видны насквозь”... в них самих нет заграждающего зрение заднего фона” (Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб., 1909, с. 265).

<sup>27</sup> Ответ на статью “Символизм и фальсификация” — Новое литературное обозрение. 1994, № 10, с. 169.

<sup>28</sup> См., например, у Мандельштама: *Незыблемое зыблется на месте...; Эфир очей, глядевших в глубь эфира...; Знать, безокружное в окружности есть что-то...; Быть может, прежде губ уже родился шопот / И в бездревесности кружились листья...* (Осип Мандельштам. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 1, сс. 204, 205, 211, 202).

не утопия (и уж во всяком случае никак не “лексическая утопия”, ибо в его сердцевине — синтаксис и грамматика), а — концептуальная и при этом радикальная инновация, способная принести плоды. И уже принесшая: из недр ивановского антиномизма выросла, в частности, бахтинская теория двуголосого слова. Бахтин объединил ивановскую антиномическую идею, принципиально самоограничивавшуюся требованием поэтической однотональности, с многотональностью прозы, доведя для этого до формально-языковой антиномичности ивановскую же идею антиномичности взаимоотношений Я и Ты. В бахтинском двуголосом слове ивановские антонимы разошлись по “голосам”, но остались — как у Иванова — в рамках единой синтаксической конструкции. Там, где Иванов расслышал формально не явленный антиномизм, Бахтин услышал два голоса. Сохранена Бахтиным и стратегическая идея ивановского антиномизма — распредмечивание референта и приношение в жертву акта именованя: сменив яркость метафизического оперения на нейтральные, успокаивающие глаз лингвистические тона, она трансформировалась у Бахтина в ограничение власти “прямого, непосредственно направленного на свой предмет” одноголосого слова — и, неузнанная в своей родословной, вошла в состав привилегированных идей самых ригористичных лингвистических теорий.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Должен был бы оказаться значим ивановский символизм не только для “лингвистики речи”, но и для “лингвистики языка”, выводящей типы антонимов в основном из лексического основания — потому, что в нем содержится как теоретическое обоснование, так и практическая иллюстрация идеи расширения типологии антиномичного, предполагающей введение *грамматической* (по осям залогов, времен, валентностей, местоимений) и *синтаксической* антиномии (и прежде всего — антиномии субъекта и предиката).